

ФЕЛИКС РОЗИНЕР

ЛИЛОВЫЙ ДЫМ



Феликс Розинер

ЛИЛОВЫЙ ДЫМ

FELIX ROZINER

THE VIOLET SMOKE

**BOSTON
1987**

ФЕЛИКС РОЗИНЕР

ЛИЛОВЫЙ ДЫМ

**БОСТОН
1987**

Феликс Розинер
ЛИЛОВЫЙ ДЫМ

Felix Roziner
LILOVYI DYM
(The Violet Smoke)

Copyright © 1987 by Felix Roziner

Boston, 1987

ЛЕЛЕ ФЕЙГЕЛОВИЧУ

Уже скоро год, как стали ко мне приходить эти письма — судья в Чикаго, адвокат из Кливленда, иерусалимская полиция, Данька Варшавский из Филадельфии, — идут конверт за конвертом, и в каждом — Владас, Владас, Владас!.. Не помню я, не знаю никакого Владаса! Они хотят, чтоб я приехал и рассказывал, чтоб отвечал на их вопросы, как отвечает робот, — где был Владас, когда был Владас, почему был Владас, а я не помню, не знаю, не понимаю, я не хочу ничего, не могу ничего, да я и не должен рассказывать им ничего, потому что всего-то и осталось у меня в сознании — столб дыма, столб лилового дыма, туманная пелена по низу лесной опушки, над самой травой, и тусклый огонь сквозь туман, как глубоко в печи, когда уже догорает, и над туманом этот лиловый столб дыма, перед березами и чуть выше, а там, наверху, столб сломан и лежит уже на самых верхушках деревьев, лежит и движется, клубится, дышит... Только это одно и осталось — слабый огонь сквозь туман и дым лиловый над пеленой тумана...

Бомбили Палангу, нас вывезли наспех, родители, наверно, и не успели узнать, что стало с их детьми, персонал санатория поразбросало кого куда, в Смоленске поезд расформировали, часть вагонов пошла на юг, а нас повезли на Урал и дальше, в Казахстан. Мне было четырнадцать. Стал фезеушником на военном заводе, работал, ходил в какие-то классы, дали мне аттестат за всю школу, и я уже вот-вот готовился идти по призыву — в офицерское училище, как думал, и потом на фронт. Но войну как раз кончили, а на радостях, поглядев на бумажку из детского легочного санатория, меня доктора прослушали и написали "не годен". С завода я уже, как призывной, уволился, с документами все было чисто. Двое суток провел на вокзале, сел в поезд и через Москву и мимо того же Смоленска — обратно, в Литву. С Данькой Варшавским познакомился там же, в вагоне, он уговорил сойти в Вильнюсе, и я остановился у него. Он же потащил меня в приемную университета. Был сорок пятый год, студентов не хватало, прошли мы испытания, и нас обоих зачислили, мне нужно было добиваться общежития, но я все оставил на Даньку и выехал в Шяуляй. Данька и его отец, работавший в исполкоме, повторяли, что я сумасшедший. В Шяуляе, хоть я говорил по-литовски чисто и по виду не напоминал еврея, меня никто не принимал за своего. Смотрели подозрительно, отмалчивались и отходили. Я называл Укшчяй и говорил, что еду разыскивать родителей, и конечно, тут, в Шяуляе, все знали про Укшчяй, что там жили до войны евреи, и никто не хотел говорить

о плохом, да и было опасно, — со всех сторон было опасно помогать приезжему, кто его знает, кто он, этот городской, говорит-то одно, а на уме у него, должно быть, другое. И верно, оперативники, милиция, следственные группы кочевали с места на место, гнались, вылавливали, арестовывали, судили, а истребительные отряды вели по всей Литве войну с зелеными. Тут мира не было, тут смерть еще не поделила с жизнью полюбовно свои владения — то есть мне тяжелых больных, стариков, случайных неудачников, тебе — остальных, кто здоров и молод, — нет, здесь смерть ходила легко, по-хозяйски, и если не в открытую совсем, как на войне, то разве что чуть припрятавываясь по лесам и рощам, хуторам и нелюдным дорогам. Мне и предстояло ехать так — из города в глубинку, сначала по тракту, а там и в сторону, в места, судя по отзывам, гибельные совсем. Я толкался на шяуляйском рынке, заводил разговоры. Никто и думать не хотел меня повезти, хоть я и предлагал и деньги хорошие и из пайковых запасов натуру. Наконец были у меня и американские сигареты. На них посмотрел мужик — неповоротливый, толстый, с небритой рыжей щетиной, довольно страшно он выглядел, да и пьян был изрядно, от него несло кислым, брагу, наверно, пил, — посмотрел, сглотнул слюну, молча взял мои пачки, сунул их в карман мехового жилета, одну же, подумав, вынул и надорвал. Еще я ждал, пока он закурит и втянет первую затяжку.

— Герай. Поедешь под сеном.

Так я и не знаю, нарочно ли меня взял этот

мужик, чтобы привезти горожанина прямо в руки лесным братьям, или же мы сами наткнулись на них уже почти на окраине Укшчяй. Я дремал, телега скрипела и тряслась, от сена, лезущего в ноздри, в уши и за шею, разболелась голова, я знал, что спустились сумерки, что скоро приедем, но все уже тогда, наверно, было в бреду, в полусне, в наважде-нии, которое как началось с дурмана тряской телеги, или раньше еще, с дымом американской сигареты, так и продлилось в виденье лилового дыма, надломленного дымного столба, продлилось в четыре безумных года меж смертью и жизнью в Укшчяй, где жил я в комнате с окном, выходящим к выгону, в земле которого лежали моя мать и мой отец и где, как мне обещано было, буду лежать и я. Очнулся я от того, что телега остановилась. Вокруг говорили — спокойно, вполголоса. Сказал ли им мой возчик, что под сеном человек? Где-то около груди отворотили сено в сторону, и я увидел сквозь его поредевшие переплетения, что ходит рядом с моим телом штык, я сказал, стараясь слова выговаривать ровно: "Не надо, подождите, я выхожу", — и стал отгребать от себя траву. Снаружи мне помогли, я соскочил с телеги, отряхиваясь, и, понимая, как это смешно, — весь в сене, вылезает вот так, будто леший, — улыбался им. Я и поздоровался, но ответа не было. Мой мужик стоял молча, его не трогали. Мне же тот, что стоял ближе всех, сказал:

— Пойдем. Туда.

И он показал подбородком, куда мы пойдем.

Там-то и был, метрах в ста от дороги, этот теп-

лившийся огонь, перекрытый вечерним туманом, и над ним, на серой зелени берез стоял плотный, округлый, как колонна, столб из дыма, и почему он сразу же, невысоко, ломался и тянулся вбок, над кромкой рощи, не объяснялось никак. Что там горело, да и было ли на самом деле виденное мной, — не помню и не знаю ничего, ведь я видел смерть, я стоял перед ней, а она предо мной, и я не должен был разбираться, что вокруг живое и сущее, а что лишь туман и дым. И они тоже видели смерть, когда стояли и смотрели на меня, и сквозь лицо мое читался им мертвый череп. Один из них вздохнул и переступил с ноги на ногу.

— Э-эх, — протянул он. — Сколько поубивали... Сколько еще, командир?

Командир их, тот, что звал меня за собой к лещочку, ответил, и я увидел, кто он, этот человек, готовивший мне смерть:

— Мы его не знаем. Он чужой, — сказал командир, и я закричал:

— Владас!!! Владас, это ты!!! Владас, помнишь, Даугела?! Помнишь, Даугела хотел твою Марге?! Камнями, Владас?! Это ты, ну Владас, это же ты!!!

— Не кричи. Может, едут за тобой, кто тебя знает! — прошипел он со злобой. — Ты Йошке.

— Здравствуй, Владас, — сказал я, отер со лба прилипшие травинки и успокоился.

— Зачем сюда?

— Разве он не сказал? — посмотрел я на моего мужика. — Родители. Пять лет, Владас, меня тогда отвезли в санаторий, все оборвалось. Я писал уже

в Укшчяй, не отвечали, вот и еду.

— Ладно, не болтай! — прикрикнул он, и я увидел опять, как плохи с ним шутки. Его и прежде боялись. Я был еще ребенком, когда он, подросток лет пятнадцати, успел восстановить против себя всю округу. Он дрался насмерть и уже портил девок, и отцы искали случая прибить его однажды. У Даугелы, в чьем доме мы жили, старшая дочь тоже путалась с Владасом, и наш хозяин захотел как-то раз сорвать зло на его собаке и стал камень за камнем швырять в несчастную Марге. Я кинулся с крыльца, рыдая, обнял собачью шею, и очередной увесистый камень угодил мне в бок. Два ребра было сломано. Даугела вечером напился, плакал и просил прощения у моего отца, стоя пред ним на коленях, как в костеле. Владас объявил, что "этот жидас под моей защитой", и меня ни в школе, ни на улице никто не смел тронуть.

— Пойдем, — сказал он. И добавил, чтоб я был уверен: — Мы в Укшчяй. Пойдем с нами. И с нами же переночуешь. У Даугелы. Утром чтоб вони твоей здесь не было.

Пришли к Даугеле, и сразу стало понятно, почему эти шестеро из отряда зеленых братьев остановились у него: Яна, младшая дочка нашего хозяина, с которой я когда-то играл в песочек, теперь темно-волосая, с сильным телом красавица, кинулась на шею к Владасу. Он обнял ее, не оставляя винтовки, и поцеловал Яню при отце и при всех остальных так, что никакого сомнения быть не могло: она его женщина.

— Иошке, — сказал Даугела. — О, Езус-Мария. Иошке, Иоселе приехал. Пан Лейбл и пани Бронислава. Вон там, видишь, Иоселе? У края выгона? — Он указывал в окно, и я смотрел. — Видишь, неровно там? Тридцать восемь душ, Святой Отец, прости всех нас. — И он еще смотрел в окно и туда, не мне, а в стекло как будто, проговорил: — И тебя они там закопают, вспомнишь меня.

Я с удивлением на него глянул, увидел, что и остальные молча смотрят на нас. Даугела скривился, пугливо усмехаясь, и стал суетиться, чтобы принять дорогих гостей как положено, с водкой и салом, с окороком и луком, с дымящимся картофелем и соленьями. Хозяйки у Даугелы не было — умерла в войну. Старшая дочь на хуторе замужем. А Яня, значит, как и сестра, приглянулась Владасу, и дом Даугелы — его теперь, Владаса дом. Вот я и попал! Если власти знают о том, что Владас наведывается сюда, меня в два счета могут забрать, хотя бы завтра же, едва я появлюсь на глаза кому-нибудь из милиции. Один вопрос: — у кого вы остановились? — и меня ведут в участок. Уйти надо затемно, думал я, выпивая рюмку за рюмкой вместе со всеми — с хозяином, у которого прожил полдетства, с Яней, с которой купался на речке в одних трусах, а то и без них, если мы убегали из дому без спросу, с Владасом, который некогда взял меня, жидаса, под опеку, а теперь едва не пристрелил. Все уже были пьяны. Но ружья стояли прямо и твердо между коленями мужчин, и они обсуждали что-то свое, лесное, бубнящими голосами, так, чтоб не было

слышно не только из-за дверей, но даже и здесь, на том краю большого стола, где сидели, как бы чуть отделясь от других, мы с Даугелой. Дочь его сидела рядом с Даугелой, и лицо ее было замкнуто.

Я не чувствовал хмеля — оттого, что весь был как одна, из нервов скрученная пружина, но нарочито распускал свои мокрые губы, неуверенно тыкал вилкою, ронял на пол куски, притворяясь для безопасности пьяным вконец. Даугела же сникал совсем, валился на мое плечо, и свесившись так однажды, что длинными своими потными волосами закрыл мне лицо, захрипел шепотом, плюя и ударяя дурным дыханием прямо в самое мое ухо:

— Убьет тебя... Бояться будет... Он в той команде был... когда кончали их... всех ваших... и твоих...

Меня забила дрожь. Он не заметил и понес что-то дикое:

— Или мы его... Один не справлюсь. Ты молодой... Да только Янька, сука... Обоих убьет, отца не пожалеет... Или они. Вернутся. Советские тоже.

Это длился все тот же бред, начавшийся еще утром, — все тут собрались, чтоб смотреть друг на друга и видеть смерть, простреленные черепа, разбросанные кости, кто кого, кто первый и последний, и кто кому брат и муж, тот тому же убийца и мститель, сидят за столом и как будто сменяют друг друга в жутких ролях — тот и этот, и так поглядел и не так промолчал, и нет исхода — или убивать или быть убитым.

На ночь Владас ушел в спальню к Яне, Даугела к себе, меня положили на кухне, а в той большой

передней комнате, где мы сидели за столом, улеглись на полу остальные. Я лежал с закрытыми глазами и ждал рассвета. Когда забрезжило, встал и прошел, переступая через спящих, к выходным дверям. Полусидя, спиной к косяку, там подремывал один из братьев, оставленный на охрану. Я тронул его за плечо и даже потряс легонько, чтобы он очнулся. Вскинувшись, он мутно взглянул на меня, подтянул к себе винтовку и покачал головой: "Нет. Иди обратно. Сначала уйдем все мы", — сказал он. Я вернулся в кухню, снова лег. В большой комнате зашевелились, негромко заговорили. Открывалась и закрывалась дверь, они уходили по одному, выжидая каждый минут по пять и слушая, как видно, тихо ли снаружи. Дождался, когда все затихло, и я, потом снова вышел из кухни. За столом сидел Даугела.

— Пей, — протянул он стакан.

Я сел напротив, выпил теплую водку и стал есть. Страх отпустил меня, голова прояснилась. Я впервые подумал о том, что сижу-то я в доме, который прежде называл своим, — и мы жили на половине его, отгороженной от хозяйской, от этой, где был я сейчас, внутренней стеной. И значит, я могу пройти в наши комнаты и увидеть... Что я мог там увидеть? Тут стал я вдруг замечать, что предметы, меня окружавшие, — вон там на стене резная — мама звала ее "итальянская" — полка, а рядом большие часы, в одном углу мраморный умывальник, в другом — застекленный шкаф-горка, — все они из того, утерянного мира, в котором некогда и я, как эти вещи,

имел свое место и назначение. Рука моя, тянувшаяся с вилкой за картошкой, замерла: на краю тарелки темнела щербина в виде парусного кораблика — ”мне с корабликом, мне с корабликом!” — требовал я, когда мать разливала суп. У Даугелы ели из нашей посуды! И я ел из нее. Я молча жевал и пытался примерить к себе, как скажу ему: ”Это наше, мое, отдай”, — и чувствовал, что это невозможно. Не из-за страха, — не то я представлял, что скажет, что сделает Даугела в ответ, а то, как покинет меня ощущение сладко саднящей, тревожащей и приятной несильной боли, какая бывает в мышцах тела, в общем-то здорового, когда нескончаемо-долгий путь с поклажей, давящей на спину, окончился наконец, и ты свалился, недвижимый, и уже не хочешь ничего иного, а лишь переживать, едва ли не наслаждаясь, боль и покой, которые могут тянуться столь же нескончаемо, что и тот позади оставленный путь. Дом Даугелы, и сам Даугела, обстановка, посуда с корабликом, вот монограмма на вилке, а это окно, за которым на выгоне, слева, у самого леса, поросшая травой неровная грядка, — и я со вчерашнего вечера здесь, и это мое, пока я все еще здесь, но станет уже не моим, если даже, сложив на телегу, свезу куда-нибудь вещи, потому что боль и покой будут тут, а вещи где-то еще, и выгон останется тут, а я буду где-то, и может, не буду нигде, не знаю, кто буду, где буду, зачем, почему, для кого...

— Подстрелят тебя, — сказал Даугела и покосился на коридорчик, туда, где были две спальные комнаты. Вот почему не вышла Яня! — там все еще

оставался Владас. — Как выедешь, тут и подстрелят. А кто повезет? Никто. Тебе не выбраться.

— Зачем? Я не понимаю, — сказал я ему. — Зачем им меня убивать?

— Га, парень. Ты можешь донести.

— Зачем мне на них доносить?

— Глупец. Ты их видел. И ты знаешь Владаса. Пей еще.

Мы выпили еще.

— Меня будут искать. В Вильнюсе знают, что я поехал сюда, — сказал я. И тут же спохватился: может, этого не надо было говорить?

Даугела подумал.

— Так. Но ты знаешь, — тут своего убьют, ищут, ищут и никогда никого не находят. А чужого — тьфу! Кому ты нужен?

Он встал, прошел в кухню и стал шумно пить там, черпая из ведра. Я действовал как по наитию: беззвучно и быстро достиг входной двери, открыл ее, вышел и двинулся через выгон. Если бы выгон был шире, то моя кожа, стянувшаяся на спине от страха так, что во мне гудело, могла бы и лопнуть, а плоть под кожей — рассесться, как брошенный оземь бочонок. У гряды я остановился. Теперь стрелять в меня было удобно: из лесочка в грудь, почти в упор, а из дома через окно, прицелившись между лопаток. Холод пронизывал до костей. Я прошел вдоль гряды, повернул обратно. Потом я сел в мокрой траве, прямо на возвышение, вытащил сигарету. Я курил и размазывал слезы. Из-за поворота дороги выехала подвода с людьми, они, наверно, ехали на

работы в поле, и опять меня что-то быстро сдвинуло с места, я пошел в их сторону, сообразив, что вряд ли меня убьют на виду у людей. Около домов, на улице, было совсем уже не опасно, я шел, узнавая и не узнавая все то, что прежде видел ежедневно: тут ходил я в школу и обратно, здесь вот через переулок спускался к реке, теперь уже близко площадь перед костелом, напротив него управа — бывшая, конечно, сейчас в ней местный совет депутатов трудящихся... Мне повезло: милиция находилась в этом же здании. Я вошел.

Час был ранний, и за конторкой в приемной сидел лишь дежурный. Я протянул ему паспорт и сказал, что хочу говорить с начальником. Паренек дежурный знал свое дело:

— А прописка? Смотрите, вот тут, — вас выписали. А штампа с пропиской нет.

Я объяснил, что прописываюсь в Вильнюсе, что еще не успел все оформить. Он снял трубку и, прикрывая ее ладонью, с кем-то начал говорить, долго и почти неслышно. Положив трубку, встал, сказал: "Пройдите со мной", — и ввел меня в комнатушку. На окне была решетка.

— Здесь подождите. Начальник придет — вас вызовут.

Паспорт он оставил у себя. Отлично, думал я. Все идет как надо. Задержали — отпустят, я попрошу связаться с Вильнюсом, отец Даньки меня быстро вызволит, и, конечно, надо будет так устроить, чтоб на милицейской машине отправили в Шяуляй. Все как надо, радовался я. Бессонная ночь и выпитое

утром сморили меня, и, сидя на стуле, склонившись к столу, я заснул. Потом меня окликнули, тот же дежурный проводил меня к начальнику. Это был небольшой белесый человек с маленькими красными глазками. Может, и он не спал этой ночью. Заговорил он было по-литовски, потом перешел на русский.

— Иосеф Янкелявичюс, верно?

— Да.

— До войны ваша семья жила здесь, в Укшчяй. Так? Видите, мы вас знаем. Теперь вернулись?

— Да, то есть нет, я приехал в Вильнюс, а сюда... Я не знал, что с родителями.

— Понимаю, товарищ. Но что поделаешь, товарищ, война, много жертв, много жертв... — Он умолк и сочувственно покачал головой.

— Там надо хотя бы оградку сделать, — сказал я. — Коровы ходят.

— Это в исполкоме, обратитесь к ним, — указал он пальцем за стену. — Сегодня принимают после обеда, с двух часов.

— Я не смогу. Мне надо обратно, в Вильнюс.

Тут он встал, обошел вокруг стола, принес мне стул и велел сесть. Вернувшись на свое место, он медленно заговорил. Я слушал его, и мне становилось жутко.

— Вы останетесь здесь, — сказал он с самого начала. — Не поедете никуда. Здесь идет борьба. С классовым врагом, — сказал он. — Пособники буржуазии, кулачество, военные преступники, скрывающиеся от правосудия. Но скоро с врагами будет покончено. Навсегда. Можете считать, что вы, как

местный житель, мобилизованы на фронт этой борьбы с нашим классовым противником. Вы нам нужны здесь. Университет? Вы молодой. Учиться сможете позже, когда советская власть укрепитя и мы их всех ликвидируем. Я уже связался с Вильнюсом, с республиканскими органами. Ваш вопрос решен положительно, в соответствии с моей просьбой. Ваше место жительства — дом Казимираша Даугелы. Нам нужен свой человек, этот дом на подозрении. У нас не хватает кадров. Мы требуем помощи в нашей работе от всех — от учителей, от врачей, от всех советских работников. Устроим вас в школу. Нужен учитель русского языка. Образование? В наших условиях это второстепенный вопрос. Подучитесь, приобретете опыт. Пока отдыхайте. Вам оформят отпуск до сентября. А там приступите к работе. Будем с вами поддерживать связь.

Он открыл ящик стола, достал печать, раскрыл мой паспорт и аккуратно поставил штамп. Что-то вписал и размашисто расписался.

— Товарищ Янкелявичюс, вы прописаны по старому месту жительства ваших родителей. В соответствии с инструкцией о прописке. Поздравляю с возвращением в родные места.

Он встал, я встал тоже. Как во сне, я ответил на его рукопожатие.

— Теперь идем.

И он привел меня к Даугеле.

— Кто? — слышался из-за дверей его голос, когда мой провожатый постучал.

— Открой, Даугела. Жильца тебе привел.

Не открывали долго. Когда мы входили, Даугела шумно дышал, и пот стекал по его лицу. Яня, глядевшая на нас внимательно, словно ждала, что мы вот-вот набросимся на нее, медленно, боком, переступала вдоль стены, отходя в глубь комнаты, все ближе и ближе к коридорчику, ведущему дальше, в спальни. Я понял: Владас еще спит, сейчас она его разбудит, он схватится за винтовку и... За спиной начальника милиции я сделал Яне знак: показал на него глазами и приложил палец к губам. Она остановилась.

— Так, Даугела, — говорил начальник. — Поселишь товарища учителя. Школа будет тебе платить за предоставленную ему жилплощадь. Ну, ты это знаешь, оформишь, как положено. Прописку он имеет.

Начальник снова пожал мне руку и ушел. Мы стояли неподвижно. И я увидел, как в конце коридора появился узкий просвет и стал расширяться, — это плавно и бесшумно поворачивалась дверь, и когда она открылась, за ней стоял Владас — в исподней рубашке и в подштанниках, белый, всклокоченный, напряженный, и из подмышки его торчала винтовка. Ствол ее поднимался и дулом смотрел на меня. Владас, расставляя неторопливо босые ноги, пошел вперед, и глаза наши встретились.

— Доброе утро, Иошке, — хрипло сказал он.

— Доброе утро, — ответил я.

Левой рукой он налил себе стакан водки, выпил и так, в подштанниках, сел, прислонив винтовку к столу.

— Ты не знал, что я еще здесь, верно, жидас? — сказал он мне.

— Знал, — сказал я и взглянул на Яню. Она смотрела на Владаса.

— Врешь, — покачал он головой, зевнул широко и, взяв бутылку с водкой, стал разливать по трем стаканам. — Садись, Даугела. И ты садись. Выпьем.

Меня мутило, но я сел и выпил вместе с ними.

— Что? — мрачно уставился он на меня. — Вчера надо было прикончить? Но не поздно и сейчас. — Он захохотал, закашлялся. — А если знал, — сказал ему? Я буду уходить, а они в засаде? — опять уставился он тягостным, злобным взглядом.

Я ждал, что он толстым своим кулаком ударит меня по лицу.

— Он не сказал про тебя.

Это произнесла все еще стоявшая у стены Яня. Владас повернулся к ней, и можно было подумать, что теперь он готов поднять кулак на нее.

— Пусть он расскажет, — поспешно проговорил Даугела и налил Владасу. — Ну-ка, Иошке, рассказывай все.

И я рассказал им все, начиная с того, как боялся выстрела из лесочка. Владасу был приятен мой страх, он ухмылялся и кивал, как бы подтверждая, что я не зря опасался его дружков. Я пересказал разговор в милиции и закончил так:

— Я только одного хочу: уехать отсюда. Помогите мне, Владас. Помогите, Даугела. Приеду в Вильнюс, у меня знакомый в исполкоме, он эту прописку аннулирует, я же в университет зачислен. Владас?

Он не ответил. Ни слова не говоря, он встал и, взяв винтовку, ушел в спальню.

— О, Езус-Мария, — шептал Даугела, — Езус-Мария...

Владас вернулся уже одетый. Винтовки не было. Он сел напротив меня и заговорил.

Ты останешься здесь, сказал он. Никто тебе не поможет выехать. Ты думаешь, война окончилась? Они хотят загнать нас к себе, всю Литву сделать своим советским дерьмом. Но мы воюем, и мы умрем, и Бог нам судья. Ты хочешь мне сказать, что твой отец и мать, пан Лейбл и пани Бронислава, уже давно мертвы, что их убили раньше, чем меня, а теперь было бы хорошо, чтобы поскорее пришел мой черед, так, Иошке? Герай. А я говорю, что думаю наоборот, лучше тебе умереть сейчас, а мне когда-нибудь потом. Потому что вот как я вам скажу, драугас Юозас: когда тебя в это дело втягивают — убивать, — никто не должен помнить ни о чем, а о том только, чтобы не быть убитым. Бог не смотрит. Он потом разберется, у него есть для этого суд на небе. А здесь суд один: стреляй, Владас! Когда тебя в это дело втягивают, никто не помнит, кто ты такой, хозяин или батрак, немец или жидас, литовец или русский, профессор или наш дурачок, сумасшедший Юргис. Ты его помнишь? Русские хотели его поймать за то, что он просил милостьню, Юргис бросился вниз с костела. Твой отец и мать сейчас, может быть, в раю, я этого не знаю. Спросил бы у ксендза, да его убили русские месяц назад. А вашего ребя Рубинаса — немцы, вместе с пани Иодваль-

кене, которая его два года прятала. Мы жили тихо, ты помнишь, Иошке. Один я, может быть, шумел. Чтобы скучно не было. Ты скажешь, вас не любили. А я скажу, никто никого не любит. Литовец не любит жидаса, а оба вместе поляка, дзукас не любит жемайтиса, и еще говорят, что и тот и другой не настоящие литовцы. И брат не любит брата, когда они делят отцовский хутор. Никто никого не любил, но мы тут жили спокойно, неплохо жили, ты помнишь, Юозас, пока не пришла советская власть со своими порядками. И жидас хороший пошел доносить на плохого литовца и на своего же плохого жидаса, хороший литовец-батрак — доносить на поляка-хозяина, и всех, кто не пошел в коммунисты, — в грузовики, в Сибирь, не помнишь, в мае сорок первого? — ты был еще сопляк, и твою семью не выслали только потому, что твой дядя был коммунист еще при Сметоне, но немцы и его убили. Когда закапывали там, на выгоне, кое-кто и плакал, но таких было мало, тогда наши уже не плакали, и многие смеялись, а теперь плачут все, а те, кто зарыты, могут смеяться. Их души на небе, пусть их защитит Святая Мария, хоть вы в нее не веруете, какая разница.

Ты останешься, Иошке. Вон их могила. И это твоя могила, если сделаешь что-нибудь не так. Зря ты ехал сюда. Лучше бы я приехал однажды в Вильнюс, и ты бы увидел меня на улице, и мы бы выпили где-нибудь. Но теперь ничего не изменишь. Ты и я — мы каждый на своей короткой сворке, да только держит-то нас одна рука, ты понял? — смерть.

Слушай меня внимательно. Ты нам нужен. Они хотят, чтобы ты был их человек, но ты будешь нашим человеком. У нас тут становится все меньше и меньше своих людей, каждый дом под наблюдением. Но пусть они смотрят за этим домом, а мы будем смотреть за тобой. И если что-то случится, — знай, с тобой первым расправимся. Не вздумай отсюда бежать. Надо будет, достанем тебя даже в Вильнюсе. Я слишком долго с тобой говорил, Юозас. Но ты должен запомнить одно: ты жив, пока мы живы, — там, в лесу, или здесь, в Укшчяй. И еще запомни: я не буду тебе доверять. И ты мне тоже не доверяй. Думай о себе, что лучше для тебя. Я видел оттуда, в щель, как ты подал ей знак. Я это учел, Иошке. Пока ты себя спас. И поэтому ты все еще сидишь за этим столом, и мы можем выпить еще.

Он налил — мне, себе, Даугеле и Яне. Она подошла и выпила с нами, перекрестив себя.

Близко к полуночи он ушел. Назавтра Даугела отомкнул замок в дверях той внутренней стены, что вела в другую половину дома и выходила в небольшую, с узким оконцем комнатку, прежде служившую нам кладовой. В ней была еще одна дверь, за которой и располагались наши жилые комнаты, кухня и коридор, кончавшийся отдельным входом с улицы. Но Даугела ту, вторую дверь из кладовки в глубь квартиры не открыл, в пустую же кладовку поставил принесенную из сарая кровать, и я понял, что тут мне и жить. На мой вопрос, удобно ли это будет, чтоб я ходил через его прихожую, Даугела мрачно ответил: "Молчи, Иоселе. Командир

так решил”. И я признал, что решил он не глупо: я все время оставался на виду, а второй, заколоченный вход не позволял мне уйти или вернуться откуда-то незамеченным. По видимости свободный, я оказался как в тюремной камере, а сама моя тюрьма имела двойную охрану — из зеленых и милицеских.

Улегшись впервые спать на своей кровати, я провел, однако, бессонную ночь. Ужас положения, в котором я внезапно оказался, теперь, в тиши и уединении, настолько был ощутим, что я лежал им скованный, как мумия в саркофаге, — неподвижной окостенелой колодой, и если б кто-нибудь в эти ночные часы мог за мной наблюдать, то он увидел бы остекленевший взгляд мертвеца и отвисшую челюсть, он не услышал бы бесшумного, короткого моего дыхания, и он сказал бы себе — это труп, в нем давно нет живого тепла, он скоро начнет разлагаться, и надо его поскорей схоронить в земле, там, за выгоном. Столб темно-лилового дыма над пепельной лентой тумана, подпыхивавшего из глубины своей огнем, стоял предо мной, стоял, клубился, сламывался и шел вбок, и я смотрел на это всю ночь. Я не знаю, заболел ли я. Утром я не встал с постели. Возможно, инстинкт подсказал моему организму, что в эти первые дни мне лучше всего пребывать в неподвижности, быть безгласным, беспомощно-слабым, не годным ни на какое действие и, значит, никому не нужным и ничем не подозрительным. Это длилось недели две. Няня молча приносила мне еду. Однажды пришел бухгалтер из школы, дал

Даугеле деньги за мое жилье и оставил мне отпускные. Из них я тоже потом, когда поднялся, отдал большую часть Даугеле за то, чтоб он меня кормил, отдал и карточки на продовольствие. Хозяин был доволен — ”мы с тобой всегда сговоримся, а с ними...” — сказал он и выругался, но кого он имел в виду, понять было трудно, может быть, он, как я, проклинал и тех и других, не дававших ему жить по-своему, без помех. Я стал помогать ему по хозяйству. Мне не хотелось томиться бездельем, я быстро понял, что, не занятый работой, я с неизбежностью обращусь к мыслям о своем страшном бытии — в ничейной полосе, на мушке снайперов, засевших по обе стороны легко простреливаемого пространства. Я понял также, что Даугела, оказавшийся примерно в том же положении, все же в некоторой степени моя защита, в его тени я в большей безопасности, я на виду у всех, то есть получалось так, что если я с Даугелой, то, значит, не с кем-то еще — ни в милиции, ни с зелеными. И я таскался вместе с ним на покос, раскидывал в сарае сено, пилил двуручной пилой дрова и даже чинил черепичную крышу. Он же пошел со мной в исполком, а затем, нанявши лошадь, перевозил на выгон столбы и штакетник, и вдвоем мы установили там ограду.

Яня сохла по Владасу. Он пробирался в дом под вечер, оставался до рассвета и уходил. Иногда отсиживался в спальне по суткам, видимо, спасался тут, когда где-то еще становилось опасней, чем в этом доме. Даугела без конца бормотал что-то по их поводу, пока до меня не дошло: она беременна.

Начались разговоры и с Владасом, Даугела бубнил, Владас обычно молчал или злобно гаркал в ответ, но Яня чем дальше, тем чаще и дольше плакала, и Владаса это злило. Наконец он сдался. Яню повезли куда-то, где ксендз их тайно обвенчал. Вернулась она сияя от счастья, — крупная темноволосая красавица, лицо которой дышало теперь такою полнотою жизни, силою и страстностью, что я поспешно отводил от нее случайные взгляды, а Даугела качал головой и говорил мне: "Смотри, этот Владас — чертова сила, всех нас прибрал, что теперь с девкой будет!"

Той же ночью играли свадьбу. Владас вошел в мою комнату и сказал: "Мы культурные люди. Яня говорит, что тебя полагается пригласить". Пришел весь, я думаю, отряд — в униформах, с винтовками, с заплечными сумками. Все выглядело так, как будто они собрались перебраться куда-то из здешних краев. Последнее время зеленых здорово теснили, их люди гибли, убежища их раскрывали одно за другим. Может быть, свадьба Владаса была их вызовом судьбе. И было что-то, как я сказал бы теперь, мистическое в этом их сборище при закрытых ставнях, в тихом пьянстве зеленого воинства, уставившего между ног винтовки. Им хотелось петь боевые старинные песни. Даугелу послали на улицу — следить и слушать. Все их песни были невеселы. "За высокими холмами, за глубокими морями, — пели они, — лежит солдатик, лежит солдатик, закопанный в поле. И пришла матуля, и принесла рубашку, — вставай, сынуля, вот тебе рубашка,

вставай, сынуля, вот тебе рубашка. — Уйди прочь, матуля моя, и унеси рубашку, голова болит — там, где сабля ударила, мается сердце — там, где его ружье прострелило”. И еще они пели так: ”Растил-лелеял отец сынулю, как Божье деревце в садочке, — и пелось дальше, что пришли солдаты и ведут его за собою: — Ой, сын-сыночек, сынуля милый, когда приедешь на побывку? — А вот когда камни со дна речного поплывут по водам...” Потом Владас велел, чтобы пела Яня. Все разом умолкли, и я до того еще, как услышал ее, понял, что они ее пению знают цену. Голос у Яни, как и сама она, был красив и полон где-то глубоко затаенной силой. Пела она вполголоса, что придавало странное, мрачное очарование ее песням. ”Ой, не кукуй на заре кукушка, не повторяй, что ночь коротка. Ой, не плачь ты так горько, молодушка, не проливай слез тоскливых. И не ломай свои рученьки белые — рута зеленая не зеленеет уже...” После этой песни она запела про девушку-сироту: ”Я бедняга-бедняжечка, и привычно мне горе горькое. Кабы матуля у меня была, матуля-защитница, — матуля моя давно уж лежит на холме высоком, под желтым песочком. Роса утренняя чудно светится на могиле ее серебром”. Это был, как видно, ее любимый напев, и я потом много раз слушал, как она, едва проговаривая слова, напевает его.

Среди ночи они все ушли, и Владас тоже, — думали они, что свадьбу отыграли, но была то кровавая свадьба, и длилась она до утра и продолжалась утром, и весь город вышел встречать процессию,

много-много подвод, целый свадебный поезд, и в каждой подводе — жених, а невеста у всех — одна-одинешенька, и стара она, беззуба была и костлява, и улыбка ее под убраным флердоранжем челом была безобразна, но всех самых лучших парней она прибрала, уложила в брачные постели — на доски, покрытые сеном, и как святою водой, окропила каждого алою кровью. На улицах стоял стон и вопль — женщины кидались поперек телег, узнавая сыновей, мужей и братьев, и бились в криках и проклятьях, солдаты их оттаскивали и пытались, выставляя винтовки наперевес, не допускать их к убитым, но таков-то и был жестокий расчет устроителей страшной процессии — выявлять по уликам безумного громкого горя сёмьи, родственников и друзей перестрелянных ночью зеленых. Яня рвалась со двора, чтоб, как все, опознать своего, мы с Даугелой висели у нее на руках, как псы на волчице, но ее стало рвать, и нам удалось увести ее в дом. Даугела ушел и через час вернулся мрачный. Он открыл дверь к Яне и крикнул из коридора: "Эй, ты там, утрись! — ушел твой, отстрелялся, говорят, еще с одним вместе. До другого раза..." Он выругался, добавил "о, Езус-Мария!" и положил на себя ровный крест. Мне он за водкой сказал: "Нам обоим капут. Владас, может, и пожалеет меня, я ему теть, я дед ребенка. Так ведь оперативники, если знают про свадьбу, прикончат. А наши тебя убьют. Им надо пролить чью-то кровь в отместку. Кто-то их предал. Они решат, что ты. Жаль, что упустили его. Вздохнули бы наконец..." Похоже, Даугела

и не задумывался над судьбой своей дочери, о ее страданиях и страсти, — так велика была его ненависть к Владасу и так был велик его страх перед ним.

Две недели стояла в Укшчяй тишина. Люди ждали чего-то. Шел конец августа, и начало занятий в школе уже приближалось, но обо мне как будто забыли. В Укшчяй замерло все. Но двадцать восьмого, дождливым утром, мимо нас к другому краю городка прошли крытые грузовики. Скоро донеслись оттуда вести: жителей вывозят — семьями, со скарбом, который можно унести с собой и который разрешается собрать в течение часа. Под тем же мерно льющимся дождем промокшие фургоны стали проезжать обратно, в сторону Шяуляя. Даугела ходил то и дело к соседям за новостями, возвращался и вновь уходил. "К вечеру будут у нас", — сказал он, рассчитав по времени ход проводившейся операции. Брали тех, кого, вроде бы, подозревали в связях с зелеными, но на двенадцать убитых мужчин уже набралось едва ль не за сотню семей, — и дураку было видно, что, как и четыре года назад, очищали город, оставляя запуганных, затаившихся, тех, кто готов был служить безоглядно советским властям. Даугела заранее стал собираться. Яню решил он отправить к родственнице — старухе, жившей на отшибе в какой-то полуразвалившейся хибаре. Дочь и отец, склонив головы, произнесли молитву, расцеловались, и Яня ушла. Назавтра она собиралась уехать на хутор к старшей сестре. Даугела пил водку, и когда постучали в дверь, уже не

слишком-то соображал. Вошли четверо — трое в форме МВД и с ними начальник милиции. Этот сразу махнул им рукой на меня:

— Янкелявичюс, я говорил вам.

— Так, хорошо, — ответил старший, в майорских погонах. — Только, пожалуйста, паспорт. Положено, — добавил он, как будто ему надо было извиняться передо мной.

Я вынес свой паспорт, мельком на него взглянули, и майор сказал официальным тоном, что выселению я не подлежу.

— Гражданин Даугела, вам и вашей дочери Янине — час на сборы, сейчас пять двадцать. В четверть седьмого должны быть готовы.

— Няя, — сказал Даугела и опустил на стул. — Слышишь, Юозас?

— Почему ее тут нет? Приведите, — сказал майор, и двое быстро прошли в коридор. Там стукнули двери, слышно было, как раскрывали шкафы, что-то со звоном упало. Даугела вздыхал, шамкал нечленораздельное и чесал свои патлы. Он был совсем плох, и когда те двое вернулись ни с чем, толком и не мог объяснить, куда ушла дочь. Может, он придуривался. Я, пока из него вынимали душу, спросил у милицейского начальника, почему Янину, он строго сказал: "Вся семья несет ответственность". Даугелу подняли, повели, комната опустела. Моей первой безумной мыслью было бежать. Я один в проклятом этом доме, выстрел через окно, и все кончено. Каким-то особым чувством я знал, что Владас поблизости. Я заставил себя успокоиться

и подумать. Мешок и чемоданчик Даугелы остались здесь, на полу. Значит, сейчас все вернутся, доставят Яню и дадут, наверно, ей собраться тоже. Меня это чуть обнадежило, я получал как будто отсрочку. Но когда придет ночь, я впервые за все это время останусь без всякой защиты. Ни Даугелы, ни Яни, теперь уже Владаса ничто не сдержит, он будет рад прикончить наконец меня, это будет удачная акция против советских, вот вам, возьмите еще один ваш труп, вы думали, что перебили нас, а мы живы, мы везде и всюду, и доказательством тому — этот мертвый молоденький жидас, шпион и предатель. Я чуть ли не воочию видел себя лежащим на этом полу. И что с того, что Владаса в конце концов поймают, расстреляют или повесят, мне будет уже все равно. А Янька сгинет где-нибудь в Сибири вместе с его волчонком в утробе, а может, и родит, и тут во мне шевельнулось злорадное: вот, что будет мстью Владасу за моих родителей и за меня самого, — этот его ребенок, который будет расти сиротой, как я. Воображение представило младенца, Яню с ним на руках, — мне стало нехорошо от того, что я желал зла двум таким же невинным и несчастным существам, каким был я сам. Голова раскальвалась от этого безумия, от всеобщей жути, затоплявшей все вокруг, как дождь, что лил и лил с небес и превращал все в слякоть, мрак, и мразь, и грязь, и сотрясал, пронизывал меня насквозь, — меня, захваченного этим холодным, мокрым и липким кровавым месивом, — я бежал в прилипшей к телу рубашке, в ботинках на босу ногу, сначала вдоль улицы,

потом, срезая путь, по огородным грядкам, и я, задыхаясь в хрипящем, едва слышном крике, ввалился к старухе:

— Не надо, не трогайте Яню, оставьте ребенка, зачем вам, отдайте! — я бросился к ней, схватил ее за руку, начал трясти неизвестно зачем — или чтобы она сказала что-то, или чтобы молчала, — я ничего не соображал, лишь повторял, как в горячке: "Не трогайте ее... ребенок!"

Нас посадили в виллис. Забрали по дороге вещи Даугелы. Остановились где-то еще раз: Даугела перешел в фургон, и уже я больше его никогда не увидел. Потом подъехали к дому Фишера — врача, недавно, как и я, вернувшегося в Укшчяй, где он практиковал до начала войны и откуда был мобилизован в армию. Вместе с ним приехали в поликлинику. Фишер увел Яню, а я сидел на скамейке, как арестованный, между майором и начальником милиции. Когда они оба, Фишер и Яня, вернулись, ее шатало. Взгляд ее бессмысленно блуждал, затем остановился на мне, и я видел, как ненависть, страх и только что пережитый стыд отразились в нем разом, но было тут же и нечто иное — желание спросить меня о чем-то, попытка что-то высказать? — не знаю. Врач сказал:

— Больше десяти недель. Нет никаких сомнений. — И почему-то посмотрел на меня. Сидевшие по сторонам встали со своих мест, я встал тоже и заметил, что и они смотрели на меня странно — недоверчиво, удивленно, а майор как будто с ухмылкой. И внезапно меня поразила и залила лицо жаром догадка:

они решили, что отец ребенка — я, я, кто кинулся к старухе, чтобы отбить Янину, выхватить ее и будущего ребенка из рук оперативников! В этой дикой догадке я непроизвольно глянул на Яню, встретился глаза к глазам с ее расширившимися зрачками, и вдруг, не отрывая взгляда от меня, она принялась истерически хохотать — вперемешку с рыданиями, стонами, криком и душившими ее горловыми спазмами. Ее стало тошнить, от слабости она едва не осела на пол, Фишер поддержал ее и кое-как усадил на скамейку. Она почти теряла сознание. "Надо ее отвезти", — сказал Фишер. Майор пожал плечами и устало, так, как говорят о донельзя осточертевшем деле, произнес: "Ладно, ну их, вычеркнем ее". И опять посмотрел на меня с ухмылкой, в которой — теперь я уже мог понять — сквозила скабрёзность.

Как только я и доктор ввели Яню в дом, она, с неизвестно откуда взявшейся силой, вырвалась, опрометью бросилась через переднюю комнату в свою спальню, и оттуда сразу же донесся плач. Доктор ушел. Я запер за ним, вынул ключ и положил его в карман. Засов закладывать не стал. Свет выключил и сел в углу на табуретку. Я боялся лежать у себя на постели, я боялся сидеть у стола, я боялся шевельнуться, боялся даже дышать. Я хотел одного — чтобы скорее все кончилось, и я знал, что ждать остается недолго. Янина затихла. Я был уверен, что она не спит тоже, а как и я, затихла в ожидании и страхе. Все на мне было мокрым, и меня бил озноб. Я сидел во тьме час и другой и, может быть, еще и еще час за часом, и была, конечно, уже середина

ночи. Дождь не переставая лил. И вот сквозь его мерный шум я угадал посторонний звук и на слабых, подгибавшихся ногах поднялся с табуретки. Провернулся, щелкнув, дверной замок, и сама дверь стала медленно поворачиваться. Я стоял так, что, открываясь, она загоразживала входившего. Но я не стал дожидаться, пока он выйдет из-за нее.

— Здравствуй, входи, все спокойно, — сказал я и поразился тому, что могу говорить, и тому, что сообразил не назвать его имя и тем показать ему свою осторожность.

Он разом прихлопнул дверь и оказался предо мной с винтовкой, упирающейся мне в живот. Тень его перекрывала слабо видимое окно, в моем углу была полная темень, но белки его глаз светились каким-то газовым бледным светом, будто он был оборотень.

— Так я за тобой, Иошке, — зашептал он, задыхаясь. — Я вижу, ты меня ждал. Не бойся винтовки. Я выстрелю, только если вздумаешь пикнуть. Я тебя просто прирежу или удушю, и это не уйдет, жидас, но успокойся пока, не дрожи. Говори, ублюдок, когда их повезли?

— Владас, Владас, она же в спальне, иди к ней скорее! — срываясь, тихо выпалил я ему и всхлипнул — так, будто всего лишь носом шмыгнул.

Он замер и, повернувшись, волчьим движением сгорбленно — тьма в темноте — проскользил туда, к Яне. Я слышал, как она вскрикнула. И я опять сидел на своей табуретке в углу и ждал. И когда увидел его тень, снова встал на подгибавшиеся

ноги. Яня тоже вышла — забелела ее ночная рубашка. И тут мне привиделось — я был уверен, что это привиделось, — Владас опустился на колени предо мной. Я отшатнулся.

— Прости, — сказал он глухим полусшепотом, который ударил так, как если б мне крикнули в самые уши. Я стоял пред ним немой и одеревеневший. — Видно, Бог послал тебя.

Он сделал быстрый крест и встал. Сбивчиво, как в полузабытьи, он забормотал:

— Кто знает, чем все кончится. Живым я им не отдамся. Спаси Яню. Ребенок родится. Пусть твой Бог благословит тебя. Когда-то мы жили в мире, — ты помни! — будь оно все проклято! Смотри, Янина, все с тебя спросится, если жив останусь! — вдруг метнулся он к Яне. — И с тебя, Иошке, помни. Ну, помолитесь за меня!

И он скрылся за дверью. Мы с Яней стояли во тьме. Дождь все шумел и шумел.

Лило и наутро. В дверь застучали: меня вызывали в милицию. Я отправился туда, вошел к начальнику, и он стал задавать мне вопросы. Как это получилось, что у меня с Яниной любовные отношения? Я подумал и ответил ему, что мы знаем друг друга с детства. Странно, сказал он. А разве нет у нее жениха? Я ответил, что нет, не знаю. А кто такой Владас? Тоже не знаю, сказал я. Как же так, сказал начальник, если вы помните то, что было с вами до войны, то должны помнить Владаса. А, тот Владас, что был до войны? — переспросил я его. Был такой, помню. А вы его здесь не видели, у Даугелы, напри-

мер? Нет, не видел, ответил я, и тут же он, наклонившись резко через стол, спросил: "Говорите! Что вы знаете о свадьбе?" Ничего я не знаю ни о какой свадьбе, сказал я. "Ночью, у Даугелы, две недели назад?" — допытывался он. Я смотрел на него, с усилием делая вид человека непонимающего, но это вряд ли получилось убедительно. Сердце колотилось. Они знают все! — стучало в мозгу. Свадьба или не свадьба, начал я, стараясь говорить равнодушно, откуда же мне знать? Я чужой. Даугела меня боялся. А ночью я сплю. Тут начальник подсказал: "С его дочкой, да?" — и в голосе его была издевательская ирония. Я весело посмотрел на него и ответил игриво: "Иногда". И нагло улыбнулся.

Ну что же, сказал начальник. Пеняйте на себя, Янкелявичюс. Мы не торопимся. Продолжайте жить, как живете. Через неделю откроем школу, начнете работать. И мы тоже будем работать. И не думайте, что вам удастся оставаться в стороне. Мне не нравится ваша история, ох не нравится! — И в этот момент, продолжая по-идиотски играть свою роль, я, вместо того, чтобы промолчать, спросил: "Какая история?"

— Янкелявичюс! — Начальник снова подался вперед и сказал с презрительной миной: — Врач записал: "Беременность десять недель". А вы здесь меньше двух месяцев.

Я сидел и молчал. Почему он не арестовал меня, не знаю. Возможно, ему ни к чему уже были новые сложности после сделанного вчера и еще раньше, две недели назад. И потом, он же сам меня здесь,

в Укшчай, оставил, и, значит, обвинив меня в обмане властей и пособничестве зеленым, он расписался бы в своей ошибке. Скоро его сменили. Говорили, будто он пошел на повышение. А может, постарался избежать расправы.

По утрам я стал уходить на работу в школу. Возвращался к обеду, и Яня ставила на стол еду. Днем она обычно избегала есть вместе со мной. Но наступало время ужина, я сидел в своей комнате, проверяя тетради или читая, и ей приходилось звать меня. "Ужин", — говорила она под дверьми, я шел в общую комнату, садился за свое место на одном краю стола, она садилась на противоположном, и так, в видимом отчуждении и в тишине, мы совместно вкушали вечернюю пищу. Потом я говорил "Спасибо. Доброй ночи", она мне отвечала тем же пожеланием, и я уходил к себе. В воскресные дни я что-то делал по хозяйству. Все же у меня была рабочая квалификация, и я умел орудовать инструментом. Я чинил и кое-что пристраивал в сарае, на дворе и в доме, и тогда мы, случалось, переговаривались, решая то или иное дело. И это было по-крестьянски. В мужицких семьях много не говорят. Наверно, мы и жили, как живут в других, таких же, как наш, домах мужья и жены, с той только разницей, что спали мы не в двойной семейной постели, а порознь, каждый в своей комнате, и не имели положенных брачных ласк. То, что мы сторонились друг друга, было естественным. Не только ее беременность, не только страстная и мучительная тоска ее по Владасу стояли между нами. Стояла целая

стена, нагроможденная из страхов, крепко сцементированных кровью. Это жена убийцы моих родителей, и его ребенок у нее под сердцем, напоминал я себе, когда замечал, что смотрю на нее. И она, конечно, тоже помнила об этом. Но у нее был свой счет ко мне: с моим приездом начались несчастья — гибель отряда Владаса, а может, и его гибель тоже, высылка Даугелы, — все это связано со мной, и никто никогда не докажет ей, что нет тут моей вины. Я мог бы сколько угодно твердить, что не был доносчиком, хотя бы потому, что все время нарочно был у них на виду, и потому еще, что не желал им зла и даже бросился спасти ее, а это уж конечно шло мне во вред, — но любые доводы остались бы напрасны — потому лишь, что я имел право на месть, я нес возмездие самым своим существованием, и мой приезд в Укшчяй уже был знаком Божьей кары, и потому-то Владас чувствовал потребность от меня избавиться и, уничтожив меня, тем избавиться от виденья карающего меча, который нависал над ним с тех пор, как он стал убивать. Я вспоминал, что, когда он стоял предо мной на коленях и, крестясь и глядя на меня, говорил, что это Бог меня послал, в глазах его трепетал настоящий ужас. Он ощутил тогда — не в первый, может быть, раз, но теперь особенно, — что не может убить меня, что ему не избавиться, что есть властная сила, ставящая перед ним запрет, и я, беспомощное существо, огражден этой силой, а он, напротив того, уязвим и доступен для губительной кромки сверкающего в облаках меча. И вот я, оставшись с Яней один на

один, занял в ее сознании то же место: я был напоминанием, я был не совершенной мезтью, угрозой, предупреждением, карой и гибелью. Я был мой убитый отец — и я был спаситель. Я был также детство. Я был началом тайных влечений, там, в кустарниках у реки, где мы невинно сбрасывали трусики. Я был свидетель. Я был соглядатай запретной любви старшей сестры ее с тем мужчиной, кто потом вошел в ее чрево, чтобы зачать в нем ребенка, спасенного мной. И я теперь был тот, кого она кормила, подавая, как жена, еду, и я был тот, кто, как муж, кормил ее и ее ребенка, неся в дом свой заработок кормильца.

Мы прозимовали зиму, я ждал, когда она родит. Не говоря об этом друг другу ни разу, мы оба понимали, что после рожденья младенца я должен буду сделать попытку уйти. Она родила, и старшая ее сестра встречала Яню, вынесшую мальчика. Она вернулась в дом и слегла с воспалением легких. Фишер где-то дней через пять сказал, что Яня может не выжить. Молоко не появилось, да и в состоянии жара и бреда кормить она не могла. Я ходил за бутылочками и кормил из рожка. Мальчик был тоже готов умереть. И, конечно, она звала его "Владас, Владас" — его или мужа? И я говорил себе, за что мне это? И говорил еще, да пусть они сгинут, она и ее ребенок, этот сосущий, грязнящий, крикливый кусок их совместного с Владасом мяса, — почему мне выпала мука жить их страданьем, пусть это окончится, вот, я не дам ей лекарства, не дам ей питья, не поставлю примочку на лоб, а ребенка не

покормлю, — ведь не кормит же сестра, уехавшая к своим детям, и не кормят сторонящиеся нас соседи, — и пусть будет что будет, само по себе, вне участия моего и соучастья, — и когда я так воображал, меня начинало мутить, и я хватал рожок и, лепеча в стыде и в отвращении к себе бессмысленные ласковые звуки, принимался выпаивать и выхаживать это двухнедельной жизни существо.

Она не выкормила своего ребенка, а выкормил его я. И непоправимость этого случившегося с ней придавила в ней что-то. Уже совсем выздоровев, она подолгу недоуменно смотрела на Владаса, а когда наступало время дать ему бутылочку с молоком, легко уступала мне роль кормящего, тем более что младенец лучше, привычней сосал у меня на руках. Теперь я боялся предпринять что-либо для попытки вырваться отсюда. Да и не кончилась еще весна, а после того, что я из-за болезни Яни и младенца пропустил много дней на работе в школе, приходилось нагонять с учениками нужное по программе. Так что до лета не о чем было и думать. Но лето пришло, а с ним пришло и другое.

Мы были с Яней в сарае, на верхнем настиле, где сгребали в кучу последнее сено, чтобы спустить его вниз и отдать корове. Мы немало потрудились, и, отдыхая, опершись на грабли, я стал смотреть в проем, во двор, где на солнышке спал в коляске младенец. Обернувшись, я увидел, как Яня глядит на меня — с тоской и еще с каким-то невыразимым чувством, понимать которое можно было всяко. Она сделала шаг ко мне, мы соприкоснулись, жар

и слабость охватили нас, мы здесь же, где стояли, опустились в сено, и от истомы страсть перешла в такое неожиданное буйство, что мы потом в страхе смотрели один на другого. Мы оба испугались происшедшего. И позже нам ни разу не было свободно и легко. Все, что нас разделяло, — не только тот, третий, кто был ее мужем, но и все остальное, что было запретом, кровью и страхом, — стояло почти что зримым надсмотрщиком наших греховных ласк, и это делало их горькими, неизбывными, отталкивающими и влекущими. Мог пройти месяц, весь наполненный ее тоской и нежеланием принять меня; но могла наступить и неделя безумств, когда она кусала пальцы, не давая утоленной мною страсти вырваться наружу стоном. К своим девятнадцати я не был девственником. Но Яня стала первой женщиной, открывшей мне познание того, что есть чувственность и какова бывает сила мужского влечения. Сдержанность и как будто скрытый в глубине ее существа огонь, которые горделивой красой всегда проступали сквозь облик Яни, в любовных ласках вдруг, сметая ее волю, проявлялись такой разительной бурей чувства, что я немел, благоговел и забывал себя. Я не мог уже этого потерять. А она бежала меня, и бывало по вечерам, глаза ее, когда она ловила на себе мой жаждущий взгляд, сверкали совсем не любовью, а ненавистью, и я знал, что это опасно. Волк, повторял я тогда себе, он, ее Владас, волк, и бродит где-то по лесам неподалеку, и она его чует, и может в любую минуту ему отозваться призывным воем. И она не меня с такой страстью

любит, а любит эту дикую собаку и вспоминает его, когда лежит в моих объятиях, и она, как волчица, меня преследует и манит, я в ее логове, и моя с ней любовь — это лишь средство обессилить и обескровить жертву. А когда Яня вновь отдавалась мне, и я бывал ею пьян и счастлив, то твердил себе, что она принесла себя мне в благодарность, в награду и в искупление, что она доверилась мне сама, как доверила мне своего ребенка, и я вправе взять этот подарок и могу наслаждаться ее любовью без страха и тяжелых мыслей. На самом же деле ненависть и благодарность бродили в ней дикой смесью, и я это знал. И знал я лучше того, что меня-то, меня самого, юного Йошке, такого, каким я мог бы вырасти на ее глазах и вместе с нею в этом дворе, если б не было ни войны, ни немцев, ни русских, ни красных и ни зеленых, а была бы обычная длинная тихая жизнь в Укшчяй, — никогда бы Яня не стала любить меня.

Подрастал мальчишка. Я возвращался из школы, и он летел, иногда расшибаясь с разлету, навстречу папе. Он звал меня папой, ее звал Яней. И в этом было неопровержимое значение. Чем больше я повторял ему: "Это мама", — тем упрямей он держался своего: Яня. Все, чего не хватало ему в его матери, он жаждал взять от меня. Он почти не шел на руки к ней. Он лез в мою постель спать. Он видел, чувствовал, вернее, нашу отчужденность и делал выбор: если эти двое около него не вместе, то он поневоле должен быть с кем-то из них, и мальчик постоянно выбирал одно и то же — папу. А я

любил — и ее и его, и чем дальше, тем все легче забывал все бывшее в прошлом. На выгоне перед окнами, где ходила наша корова, выросли мной посаженные вдоль ограды кустарники, и они закрывали могилу, и это подтверждало, что все плохое уходит куда-то, жизнь берет свое, и что, может быть, счастье возможно на этой несчастной, истерзанной и избитой, но такой мне близкой и ставшей теперь совсем родной земле — с этим выгоном и домом, с ребенком и женщиной, с детьми в той школе, где я учил их писать и говорить по-русски "ра-бы не мы — мы не ра-бы"... Я на многое закрывал глаза. Зеленых и к сорок девятому году еще не смогли уничтожить, хотя было ясно всем, что их судьба давно предрешена. В мае заговорили, что в наших краях опять неспокойно. Однажды, войдя в учительскую, я услышал в дверях "Владас", но, увидев меня, говорившие смолкли. Придя домой, я не придал значения тому, что Яня была неспокойней обычного, хватала и прижимала ребенка, потом отставляла его на вытянутых руках и напряженно смотрела в детское личико. То и дело она напевала свое "Я бедняга-бедняжечка". До вечера я сидел в своей комнате, проверяя тетрадки учеников. Потом мы сели за ужин. Как всегда, Яня сидела на дальнем конце стола, трехлетний Владас справа от меня. Была кружка — большая глиняная кружка с петухами на боках, — из которой пил только я. Она стояла наполненная молоком. Владас, хитро взглянув на меня, потянулся к ней, осторожно взял двумя ручонками, начал пить и, сделав несколько глотков,

стал шумно переводить дыхание. И я услышал дикий воющий крик — его испускала Яня, кидавшаяся к нам с разверстым ртом, с огромными, вперед протянутыми пальцами, она ударила по кружке, я вскочил, она, казалось мне, хотела задушить ребенка, — трясла его и прижимала голову книзу, — я что-то заорал и услышал в ответ:

— Я отравила!.. Твое!.. Отравлено!

Я ударил ее в живот, и, выпустив ребенка, рыдая, она привалилась к столу. Я знал, что Фишера в городе нет, что час поздний и что в поликлинике пусто. В поселке за семь километров — больница, там есть врачи и ночью — кого звать на помощь? кто с лошадью? кто с машиной? кто поедет со мной? — я побоялся потерять драгоценное время на поиски и уговоры и побежал по дороге. Мальчишка был совсем плох, лицо его стало землисто, он плохо дышал. Было нехорошо и мне — мое правое легкое слабо работало с той поры, как Даугела вмял в него два ребра, — и, добежав до цели, сказав врачам, что мальчика отравили, я потерял сознание.

Его спасли. Я переночевал в больнице и утром ушел. Я шагал по той же дороге, где бежал вчера вечером, но дойдя до развилки, повернул не в Укшчяй, а в сторону Шяуляя. Вот тут это было четыре года назад: я вылез из-под сена и соскочил с телеги. Я подумал: а могут меня и сейчас подстрелить. Я глянул в сторону — у лесочка, понизу стлался свежий утренний туман, в нем перепыхивало багровым, и колонна лилового плотного дыма шла вверх и ломалась там, над кронами, и тянулась вбок.

И было еще так, что, закончив университет и уже два года отработав в Вильнюсе, ехал я по той же дороге: нас, молодых специалистов, рассылали по Литве, в глубинку, с лекциями, и я как раз направлялся в районной машине куда-то, где меня ждали в клубе. Я не знал, как меня повезут и не сразу понял, что мы будем вот-вот в Укшчяй, но когда въехали в городок, я сказал шоферу: "Зайдем в закусочную?" Мы остановились у закусочной, вошли и попросили у подавальщицы пиво. Через минуту вернувшись, глядя на меня с испугом, она сказала: "Вас просят подойти", — и кивнула по направлению к стойке. Там кто-то стоял. Я поднялся и пошел туда. Большой, растолстевший и почти совсем лысый человек в промасленной телогрейке, не поднимая головы и не показывая мне лица, а глядя в сторону и вниз, сказал:

— Не называй меня. Ты зачем появился здесь? Не знаю, где ты живешь и кому ты служишь. Мне наплевать. И я не знаю, ты тогда выдал нас или нет. И на это мне наплевать. Чего ты хочешь снова? Она с тобой спала — вот что я знаю, ублюдок. И если ты сейчас не сгинешь навсегда, если еще хоть однажды ты здесь появишься...

Я отошел, кивнул своему шоферу, и мы поехали дальше.

Не знаю, как он оказался в Америке. И теперь, читая эти письма и слушая красивые слова о правосудии, которые плетет мне офицер полиции святого Иерусалима, я думаю: пусть осудят его другие. Я думаю, что если я приду и буду показывать

против него, он скажет себе: "да, зря я не убил его, зря я оставил его; он такой же, как и я, он и теперь мне мстит, он и теперь желает мне смерти". В его глазах я окажусь на одной с ним доске. Потому что и в самом деле: не убитый им, я прихожу для того, чтобы он оказался расстрелянным. И если все эти годы я служил опровержением, — то придя на суд, я стану подтверждением его слов "убей, чтоб не быть убитым". И тогда, как ни решили бы судьи, — он себя оправдает. Поэтому пусть суд в Чикаго идет без меня. Пусть там снова клубится лиловый столб дыма. Но без меня.

*Апрель 1984
Таль-Эль, Галилея*

КНИГИ ФЕЛИКСА РОЗИНЕРА

НЕКТО ФИНКЕЛЬМАЙЕР

ВЕСЕННИЕ МУЖСКИЕ ИГРЫ

ТРИПТИХ

ТЕМНЫЙ ДОМ

СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА

101 СЛОВО – 12 СТИХОТВОРЕНИЙ

В ДОМИКЕ СТАРОГО МУЗЫКАНТА

РАССКАЖИ МНЕ, МУЗЫКА, СКАЗКУ

ВАШИ ДЕТИ, ВЫ И МУЗЫКА

САГА ОБ ЭДВАРДЕ ГРИГЕ

ГИМН СОЛНЦУ. ЧЮРЛЁНИС

ТОККАТА ЖИЗНИ. ПРОКОФЬЕВ